

84(2=411.2)Б-4
Б95
СА-392389

ДМИТРИЙ
БЫКОВ

роман

ИСТРЕБИТЕЛЬ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

СА-392389

ДМИТРИЙ БЫКОВ

ИСТРЕБИТЕЛЬ

роман



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Издательство АСТ

Москва

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	7
Пролог КРАСНЫЙ СТАКАН	13
Глава первая ПРЫЖОК	28
Глава вторая СЕТЬ	62
Глава третья ДВОЕ	110
Глава четвертая ВЫЛЕТ	209
Глава пятая ВОЖДЬ	281
Глава шестая ДОЖДЬ	366
Глава седьмая СЖАТИЕ	464
Эпилог БАШНЯ	559

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРЫЖОК

1.

Все началось — или кончилось — 20 июня 1937 года, когда упала Люба Лондон. Так показалось Бровману два года спустя, и он достал дневник, чтобы перечитать все про этот день.

В семь утра за ним приехал редакционный шофер Спасский, и они рванули на Люберецкий аэродром. Небо было промытое, улицы пустые, настроение прекрасное. Испортили им это настроение, когда не пропустили на Рязанское шоссе. Шоссе перегораживал грузовик, и постовой всех разворачивал. Бровман понял, что придется махать удостоверением. Он этого не любил.

— Товарищ, — сказал Бровман уважительно, однако без просительности. — Мы едем на затяжной прыжок, «Известия».

— Все понимаю, товарищ. Розыскное мероприятие.
— Но нам в номер писать про это. Мы не можем опоздать.

— Никто не опоздает. В объезд попадете.

— Пока будем объезжать, они уж прыгнут, — сказал Бровман уныло. Он понял, что ничего не добьется.

— Никто не прыгнет, проезд всем закрыт. Дольше разговаривать будем.

Бровман никогда не спорил с милицией и только со злости хлопнул автомобильной дверцей.

— Обломись, — сказал он Спасскому. — Ищи объезд.

— А тут чего?

— Не знаю. Серьезное что-то. Не говорят.

— Шпиона ловят, — предположил Спасский и развернулся.

Долго они ныряли по каким-то ему одному ведомым закоулкам, вырвались в дачную местность, проехали мимо большого пруда, петляли, поднимая клубы пыли, и проезжали дачные улицы. На дачах, несмотря на ранний час, старухи уже копались в грядках, мелькнул гамак с солидным мужчиной, девушка в купальнике ловила раннее солнце. Никому из них Бровман не завидовал: они и не знали, что люди едут на историческое событие. Наконец выехали на относительно ровную грунтовку и подкатили к аэродрому с неожиданной стороны.

— Ты откуда этот маршрут знаешь? — спросил Бровман.

— Жили мы тут недалеко в деревне в прошлом году. Летом тоже.

Они успели, никого из газет еще не было, только «Союзкинохроника» расставляла аппаратуру. Бров-

ман, как всегда, боялся, что правдисты приедут раньше, хотя писать всем предстояло об одном и том же, — но мало ли. Машбица не было. Минут через двадцать подъехали начальник летного отдела Осоавиахима Буров, неприятный, заносчивый и грубый, испытатель Сергеев и с ними в машине Машбиц. На Бровмана он смотрел пренебрежительно, прокатился с начальством, примазался. Он и теперь шел за Буровым, прислушиваясь искательно. «Черт его знает что такое», — сказал Буров. Их тоже развернули, почему — никто не сказал. Вероятно, что-нибудь исключительное.

Еще через десять минут приехали Лондон с Ивашовой, и Бровман был вознагражден: Люба ему помахала. Он с ней за неделю до прыжка, когда не было еще разрешения от наркома, сговаривался вместе писать письмо Сталину. Год назад, когда вожди посещали аэроклуб, Люба дала обещание прыгнуть с затяжкой в шестьдесят секунд, перекрыв мировой рекорд, и сегодня должна была выполнить обещание. Писать, уверяла она, ей гораздо трудней, чем прыгать. «Лёва, вы напишете мне, да?» Книгу свою «Записки парашютистки» она через пень-колоду, после долгих отнекиваний, наговорила Исаеву, постоянно приговаривая: «Да кому интересно?» И действительно вышло неинтересно, потому что главное она переживала в полете, а про это никто рассказать не мог. «Я больше всего люблю, когда запахи появляются. Летишь — там запахов нет. А когда уже дернешь кольцо, уже ясно, что хорошо все, — тогда метров за двести начинают наплывать: цветы, трава. И уже вокруг воздух теплый». Про ощущения в затяжном прыжке, говорила она, рассказать нельзя, но при этом в полете она действова-

ла четко, как машина. Вообще, в Любе мало было романтики. У них с Булыгиной были свои поклонники, сырихи, как у Лемешева с Козловским: удивительна эта парность во всем. Булыгина — та была вся огонь и непосредственность. Когда Ворошилов награждал парашютистов — расспрашивал, показав глубокое знание предмета: как крепить секундомер? как не дернуть кольцо инстинктивно сразу после прыжка? как избежать штопора? Булыгина, чернявая, стремительная, щебетала про чувство полета и рассказывала, мило смеясь и рассчитывая на такой же милый смех, что сама себя сразу после прыжка левой рукой за правую хватает, вот правда, товарищи! Сразу влюбленные улыбки. Лондон, прямая, основательная, рассказывала о личной методике: как же не войти в штопор? В затяжке — обязательно войдешь. Я когда прыгну, первые десять секунд лечу прямо, ноги сжаты. Потом начинает крутить — ну, я кручу в обратную, но это не всегда возможно. Тогда разводишь ноги и резко выбрасываешь левую руку, а правая — на вытяжном кольце. Несложно, в общем. Главное, чтобы спокойно. Вожди слушали, кивали, и видно было, что Булыгина им нравится больше. А летчики любили Лондон: академик девка, сказал Машевский, который летал с ней на планере.

Дружила она только с Тамарой Ивашовой, самой тихой и долговязой, выше иных мужчин, во всем парашютном отряде; о чем уж они там меж собой говорили, Бровман не мог представить. Было у них взаимопонимание без слов, и потому им так удавались синхронные прыжки, от которых столько восторгов выслушали при поездке наших в Румынию. Король Кароль вручал им тогда знак доблести.

Ивашова и сейчас молчала, а Лондон строго ответила кинохронике: у нее это пятидесятая затяжка, круглое число, долго непонятно было, дадут ли разрешение, но в шесть утра синоптики сказали — да. Волнения перед прыжком давно нет, одно волнение — не перетянуть. «Я на первом еще прыжке затянула, ждала двадцать одну вместо пятнадцати. Тут надо на семистах раскрыться, ниже опасно». «На тысяче!» — веско сказал Буров. Ему лично Ворошилов сказал: за каждую из этих девочек отвечаешь головой, и погрозил пальцем.

Бровман подошел поздороваться и напомнить, что им вместе писать. «Мы сегодня хорошо прыгнем, увидите, — сказала Люба. — Небо видите какое? Я прямо счастливая с утра. Только вы как будете писать, не пишите “Лондон”. Миша обижается, он хороший у меня. Напишите Лондон-Ефимова». «Даже могу его фото вместо вашего», — пошутил Бровман. Миша ее был ничем не примечательный, тихий мальчик, она подобрала его в музыкальном техникуме, где занималась серьезно и безнадежно: любовь к музыке была большая, способностей ноль. Люба запрещала ему приезжать на аэродром.

И дальше страшно быстро все задвигалось: Буров дал команду, все побежали к самолету. Тот резко ушел на высоту, набрать предстояло семь шестьсот, и потянулось ожидание, пять, десять, двадцать минут, и Бровман, отличавшийся чутьем на такие вещи, почувствовал, что у него в начинающейся жаре холодеют ноги, а на мужа Ивашовой, такого же долговязого Олега, он смотреть боялся. Понятно уже было, что пошло куда-то не туда, но не было еще чувства, что окончательно.

Была надежда, что снесло к Ухтомской, туда дважды приземлялись на тренировках, — но стремительно спустился и заскакал по полосе, с трудом тормозя, Шабашов, к нему побежал Буров, и Бровмана поразило потерянное, детское шабашовское лицо: на двух тысячах он потерял парашютисток из виду, спустился — никого. Подъехала карета скорой, Буров прыгнул в нее, уехали, кинохроника тупо стояла, не зная, что делать. Подбежали мальчишки, видимо деревенские, и, тоже прыгая, заорали: они там упали! Бровман побежал, Машбиц неловко за ним, но на пути была колючая проволока — откуда, с чего? За проволокой был виден метрах в трехстах осевший, полураскрытый парашют, белый, самый прочный. К нему бежали с носилками, что-то делали, потом отошли.

С мужем Ивашовой случилось страшное, он катался по траве, рвал ее и выл. Подошел Буров и махнул рукой. Бровман узнал потом, что секундомеры разбились, но с вышки ему рассказали, что парашюты стали разворачиваться на двухстах метрах, раскрыться толком не успели, да и не могли. Врач буркнул, что у Лондон ни одной кости целой, у Ивашовой сломаны все ребра, и что заставило их в прыжке так перетянуть — непонятно. Бровман хотел заглянуть в лица, понять хотя бы, мгновенно или нет, и, может, по выражениям угадать причину, но Буров всех прогнал.

Ведь как-то они одевались с утра, застегивали комбинезон... Бровман всегда думал о том, как человек одевается в свой последний день, не зная, что он последний. Старик, понятно, умирает в своей постели, но герой, убитый на баррикадах, за секунду до этого говоривший с друзьями... В Музее революции в новой экспозиции

к тридцатилетию пятого года Бровман видел кофточку Люсик Люсиновой, пробитую пулей юнкера, — ведь надевала она с утра эту кофточку? Что было на Любе, он не видел под меховым комбинезоном. А ведь спала с мужем в эту последнюю ночь, еще и прощалась буднично, как всегда, но наверняка что-то чувствовала, — Бровман и сейчас, припоминая, пытался в последнем разговоре с ней поймать это предчувствие. Укладка парашюта? Люба с пятого прыжка укладывала сама, говорила об этом всегда: полагаться на укладчика — барство. У нее были уже, как она называла, внуки — ученики учеников, и тоже всегда все сами. Особенно же Бровман не мог теперь понять, как это — человек прыгнул с семи тысяч метров, зачем? Он обычно таких вопросов не задавал, но теперь все увиделось ему совсем абсурдным. Люди будущего, с которыми он часто вступал в мысленный диалог, — поймут ли они вообще, что все эти мужчины, собравшиеся на Люберецком, здесь делали и почему две женщины упали с семитысячной высоты?

Надо было ехать в редакцию и как-то отписываться, но Бровман не понимал, как он будет сейчас это делать. Не сказать чтобы его знакомые не бились — Бровман видел катастрофу «Горького», знал не меньше пяти человек оттуда, — но там по крайней мере ясны были причины и он ни с кем не говорил перед полетом. Здесь же он был последним, кто перемолвился с Лондон перед стартом. Может быть, если бы он сказал ей что-то другое... Вдруг именно он и высказал нечто роковое? Этого не могло быть, все бред, и почему-то ему казалось, что все из-за объезда, что во всем виновата милиция, ловившая на Рязанском шоссе неизвестно кого.

2.

Артемьев говорил, что его жена села в машину и уехала, и он не знал куда. А между тем она не взяла с собой ничего и не забрала у портнихи платье. Теперь его жена находилась в пяти мешках, собранных 19 июня на Рязанском направлении, в лесу вдоль шоссе, и найдено было не все, но соседи опознали кусок клеенки, в который завернута была изуродованная, с вырезанными глазами голова. Первый мешок обнаружил грибник, удивительно бодрый старик, навидавшийся всякого; по спокойному его виду сначала в нем и предположили убийцу, но выяснились всякие обстоятельства. Спокойствие свое при виде трупов старик приобрел в Гражданскую, а жена Артемьева как раз пропала неделю назад, и через два дня об ее исчезновении заявила сестра, а спустя еще два дня пришел в милицию сам Артемьев. Он не отрицал, что поссорился с женой в последний вечер, она убежала, он из окна видел, как села в какую-то машину и пропала. После заявления сестры еще решили подождать, после заявления Артемьева насторожились, а тут и старик с головой. Против Артемьева говорило прежде всего то, что он патологоанатом, то есть способен был разделять тело грамотно; однако неизвестно было, жена ли в мешках. Сам Артемьев утверждал, что совершенно не жена. Трудность была в том, что на теле оказались уничтожены все особые приметы, даже и возраст определялся весьма приблизительно — от тридцати до сорока; скальп снят, на ноге срезаны обширные участки кожи — медэксперт сказал, что, видимо, убивали родинки. С выдающимся хладнокровием проделано,

не хотелось трогать Артемьева. Прямо страшно было его трогать. Временами, глядя в его исключительно спокойные глаза, Фомин понимал его жену, которая от него сбежала.

3.

Со стратостатом «СССР-3» тоже не обошлось без предвестий, на этот раз куда более явных. Это было уже после установки у Бровмана личного телефона, в начале сентября. Ночью звонком разбудил Порфирьев, голос у него был веселый и нервный: разрешили, говорю тебе первому. Когда? В семь утра. Что же, будем; Бровман высвистел из редакции Спасского, рванули на Поклонную гору, прибыли к пяти утра. Ночи были уже холодные, и пахло гарью, как часто бывает осенними ночами. Спасский привез сегодняшние «Известия», Порфирьев небрежно их сунул за приборы — обещал посмотреть в воздухе. И тут началось. Это был первый подъем с двойными стропами, системой как бы постепенного старта, которой Бровман толком не понимал: почему-то важно было на взлете иметь короткие стропы. На первой сотне метров они удлинялись, и стратостат набирал полную свою высоту («А то ветерок», — объяснял Порфирьев, но Бровман все равно плохо понимал: наверху же тоже ветерок). Еще одно нововведение — сетка, наброшенная на корпус: пока его надували, корпус должен был висеть неподвижно, вот эту неподвижность давала сетка. Потом ее можно было сбросить, попросту дернув за веревку. Бровман стоял задрав голову и смотрел, как серо-желтая

4.

Этого нельзя было понять, этого никто не ждал, и Бровману все вспоминалось его молящее, совершенно неузнаваемое лицо, когда на прощанье Порфирьев спросил: но ты придешь на следующий старт? Ясно было, что не дадут старта, что не видать ему больше темно-лилового неба, но что вот так... В некрологе, подписанном Кагановичем и десятком людей мельче, говорилось: перенапряжение, травма, нервный срыв. Белоусец отмалчивался, Семенов был совершенно смят. Помянуть собрались в Центросовете Осоавиахима на Суворовском. Поначалу пили молча, но постепенно разговорились и даже стали чокаяться, хотя каждый второй тост пили за ушедших; но хватит похоронных настроений, сказал Ляпидевский, будем пить как за живых.

Не так часто собирались они теперь, летчики, полярники, капитаны, конструкторы, все, кого газеты давно объединяли словом «герои»: герои вышли на трибуну, героев встречали вожди... Они и составляли два верхних этажа могучей конструкции, похожей на пирамиду физкультурников, — как в легендах Древней Греции, раздел первый: боги и герои. Они были еще молоды, Порфирьев из старших, но в гробу выглядел юношей; оказывается, ему не было и тридцати семи, пушкинский возраст, действительно роковой. Давно миновали года их молодого энтузиазма — хотя какое давно? Пяти лет не прошло с эпопеи «Челюскина», семи — с открытия Люберецкого аэродрома, десяти — с полета Нобиле. Год шел за три. Теперь они больше руководили, чем летали, больше спорили на заседаниях, чем над картой;

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 60-61-28**